

АРТЕМИЙ ЛЕОНТЬЕВ



Варшава, ЭЛОХИМ!

18+

«Варшава, Элохим!» — жуткое чтение. Но не читать эту книгу нельзя.

Евгений Попов

Проза толстых литературных журналов

Артемий Леонтьев
Варшава, Элохим!

«РИПОЛ Классик»

2018

УДК 882
ББК 84(2Рос-Рус)6

Леонтьев А.

Варшава, Элохим! / А. Леонтьев — «РИПОЛ Классик»,
2018 — (Проза толстых литературных журналов)

ISBN 978-5-386-12504-2

«Варшава, Элохим!» – художественное исследование, в котором автор обращается к историческому ландшафту Второй мировой войны, чтобы разобраться в типологии и формах фанатичной ненависти, в археологии зла, а также в природе простой человеческой веры и любви. Роман о сопротивлении смерти и ее преодолении. Элохим – библейское нарицательное имя Всевышнего. Последними словами Христа на кресте были: «Элахи, Элахи, лама шабактани!» («Боже Мой, Боже Мой, для чего Ты Меня оставил!»).

УДК 882
ББК 84(2Рос-Рус)6

ISBN 978-5-386-12504-2

© Леонтьев А., 2018
© РИПОЛ Классик, 2018

Содержание

«Строгий юноша» Артемий Леонтьев	6
Часть I	8
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Артемий Леонтьев Варшава, Элохим!

© ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2019

«Строгий юноша» Артемий Леонтьев

Я с большим уважением отношусь к Артемию Леонтьеву и его работам. «Много званных, но мало избранных». Артемию Леонтьеву 27 лет, и он настоящий писатель, поверьте моему 56-летнему опыту пребывания в советской, антисоветской и постсоветской литературе, где я навидался всякого и всяких – от подлинных гениев чистой красоты до отъявленнейших графоманов, дураков и негодяев.

Впервые я узнал о его существовании в прошлом году, в Иркутске, где, кстати, обсуждался совсем другой его объемный роман о современной Москве, заставивший меня вспомнить первый неподъяремный труд Василия Аксенова под названием «Ожог», написанный моим старшим другом, товарищем и братом в 1969–1975 годах безо всякой оглядки на цензуру.

«Московский» роман Леонтьева еще только ждет своей публикации, и она, я уверен, будет столь же заметна, как и эта попытка напомнить миру о восстании в Варшавском гетто. Попытка расставить точки над «i» в истории, что до сих пор не осмыслена до конца со всеми ее высокими и низкими подробностями. То ли от ужаса перед случившимся, то ли от хитрованства власть имущих разных стран, гордящихся чистотой национальных риз, то ли от идиотически понятой «политкорректности», когда и этого не трожь, и этого не замай.

«Строгий юноша» Леонтьев работает, сознавая полную ответственность за то, что он делает. Полагаю, он сам расскажет в грядущих интервью о своем отношении к мировой и русской классике, о том, что думает о литературе ему современной, о том, как и почему он, русский парень из Екатеринбурга, взялся за эту неподъемную «еврейскую» тему, перелопатив массу материала, чтобы добиться эффекта авторского присутствия в разрушенном Второй мировой войной городе на Висле, где *«вязкая, чернильная вода молчала, нервно подрагивала волнами-разводами, топорицилась, словно хмурилась, стараясь запомнить, собрать в свои летописные воды-страницы всю людскую многоголосую горечь, все опеplившиеся судьбины и мерзлые слезы»*. За год нашего знакомства я с радостью обнаружил, что он не только писатель, но и читатель, ученик, постоянно открывающий новые для него книги и имена, порой малоизвестные, но которые обязан знать каждый начинающий свой литературный путь вне зависимости от того, учился он в Литинституте или вырос самоучкой.

«Варшава, Элохим!» Артемия Леонтьева – читаемое доказательство того, что русская литература, создаваемая нашими современниками, и сейчас способна на такой серьезный разговор, который предлагает нам юный автор. И не все в этой новой литературе хихоньки да хахоньки, попса, «креатив», недомыслие, «чернуха», постпостмодерн, не вся она утратила связь с реальностью, историей, землей, на которой мы существуем и продолжаем существовать, редко задумываясь о том, что *«тысячи, миллионы взрослых, сильных и умных людей осознанно живут пугающей, жестокой жизнью, убивают и заставляют голодать других по своим надуманным политическим причинам»*.

И о том, что как под земной корой бушует расплавленная магма, так и тонкий слой человеческой цивилизации и культуры «просвещенных народов» имеет под собой жуткий массив изначальной дикости, которую язык не поворачивается назвать «звериной». Ибо не звери изобрели атомную бомбу, ГУЛАГ или описываемую в романе Леонтьева фабрику смерти Треблинку, где *«отсортированное имущество уничтоженных евреев зондеркоманда комплектовала по степени ценности и укладывала в пустые грузовые вагоны, которые длинными сытыми эшелонами отбывали в Бремен, Ахен или Швайнфурт»*. Это сделали НЕЛЮДИ, глубоко убежденные в том, что *«... все люди дрянь и редкостные шкуры. Недаром допрашиваемые почти всегда так красноречиво и с достоинством, даже свысока начинали отвечать на вопросы, а затем в течение нескольких часов оборачивались в пресмыкающееся, окровавленное отребье, готовое исполнить любую прихоть гестапо»*.

Все, да не все. Гольдшмит (подлинная фамилия великого педагога Януша Корчака) принял смерть в газовой камере вместе со своими воспитанниками, вовсе не думая о том, что его имя станет легендой, а просто потому, ЧТО НЕ МОГ ПОСТУПИТЬ ИНАЧЕ.

И поляк Яцек, который *«прихватил у товарищей из Людовы два автомата, свою охотничью двустволку и окончательно перебрался сюда, чтобы разделить последние минуты гетто с евреями»*.

И гауптман охранного батальона Франц Майер, фашист, неожиданно для самого себя спасающий подпольщиков Отто Айзенштата и Эву Новак, «как если бы все трое были частью единого целого».

«Варшава, Элохим!» – жуткое чтение. Но не читать эту книгу нельзя.

Евгений Попов Москва, 13 июня 2018

Иршице посвящаю

1 + 1 = 1

Андрей Тарковский

Сосны. Осенние луга.

Горное селенье. Тропа в горах.

Сэй-Сенагон

Часть I

5702 год. Нисан. Варшава – поникшая и сутулая: беспокойные голубятни, плачущие окна, влажные крыши. Март 1942 года по григорианскому календарю. Окостеневший и ломкий город с прокопченными кровлями, избитыми в труху стенами – рыхлыми, какими-то предобморочными, осевшими. Авианалеты и артобстрелы сентября 39-го истерли в пыль, растрепали почти половину столицы, расцарапали ее контуры. Залатанные прямоугольники домов казались полупрозрачными, призрачными – сумеречные блики, привидевшиеся в темноте образы. Рассветный город стоял во вретницах. Завалы давно разгребли, руин не осталось, но присыпанные бетонной крошкой пустыри и надкушенные углы напоминали о недавнем прошлом – свежие рубцы города, свежие пепелища и страх – страх, еще не отстоявшийся до осадка и не слежавшийся в однородную массу. Настороженные дворники в фартуках вываливались из тумана и с нервным скрипом скребли асфальт когтистыми метлами, мелькая в серой дымке промасленными рукавицами. Король Сигизмунд на высокой колонне с бронзовой саблей и крестом упирался в пасмурное небо темным контуром: в тумане раннего утра он походил на воткнутую в землю кость. Улицы были неподвижны, малолюдны, еще скованные холодком библейской, рассеивающейся уже ночи, они напирала одна на другую растянутыми жилами, петляли под боязливыми ногами редких прохожих и дребезжали под кованым грохотом сапог вермахта. Висла не до конца скинула надтреснутый лед, облизывала город, выставляла в тусклые облака черный глянец воды. Река терлась льдистой чешуей о низкие мосты и пологие берега; маслянистая и тихая, она переплеталась потоками, спутывалась, точно в канат, неспешно сбивалась в пену. Вязкая чернильная вода молчала, нервно подрагивала волнами-разводами, топорщилась, словно хмурилась, стараясь запомнить, собрать в свои летописные воды-страницы всю людскую многоголосую горечь, все их опеплившиеся судьбины и мерзлые слезы. Гладкая тишь нетнет, а выдавала себя – сквозь крадущуюся воду-пелену проглядывало что-то пугающее, какая-то злобная несеть, точно скорбная вода реки теснила в себя саму историю, поглощала ее сумеречную суть и пузырилась коловращающейся жутью, скрытым на дне черной реки первобытным безумием. Вокруг пустых скамеек как ни в чем не бывало расхаживали голуби, важные, будто сборщики податей, трепыхали крыльями и нахраписто толкались. Длинные трамваи, похожие на гондолы, подвешенные к проводам, звенели и раскачивались, готовые повалиться набок; голубые искры вспыхивали над вагонами и сыпались на головы зевающих, сонных прохожих, не долетая до них и растворяясь еще в воздухе.

На балконе, поддерживаемом тремя атлантами, стоял сорокапятилетний гауптман Франц Майер, смотрел на хмурый город и курил. Левая рука, обтянутая кожаной перчаткой, сжимала фуражку, а в правой, опертой на поручень, дымилась хорошая египетская сигарета. Рядом на невысокой тумбе – полупустая чашка остывшего кофе. На улице было холодно, но Майер, чтобы немного взбодриться, стоял без шинели, в одном кителе: сегодня он спал только четыре часа, голова плохо соображала – кофе не помог, а идти на службу со слипающимися мыслями не хотелось.

На широкой груди Франца темнели бронзовый крест Гинденбурга и Железный 2-го класса, тоже ветеранский, не со свастикой, а с W и короной на вершине. К наградам 1914-го, казалось бы, так и просились «печати» Третьего рейха, но Майер как будто выжидал чего-то и взвешивал, пробовал на язык вкус этой новой, такой непривычной для него войны. Великую войну он прошел пехотинцем в 21-й дивизии 11-го армейского корпуса Касселя, дослужившись до фельдфебеля. Помимо тяжелых воспоминаний и креста, от той войны у него остались шрамы: когда двадцатилетний Франц выходил из блиндажа, укрытие накрыло тяжелой миной, осколки изрубцевали поясницу, плечи и ноги. Майеру повезло – позвоночник не задело, и все же потом, лежа в госпитале, он долго не мог избавиться от страха остаться парализованным.

Родом из Гессена, Майер вырос в небольшом городке неподалеку от Фульды. Его отец, глава многодетной католической семьи Альфонс Майер, был врачом и во время Великой войны двигался по пятам молодого еще солдата-сына – несмотря на то, что в гуще самой этой бойни они так никогда и не встретились, оба ощущали себя, что называется, плечом к плечу. Альфонс Майер постоянно думал о сыне, обменивался с ним письмами и шагал по разогретым огнем, вспухшим от крови землям, пересчитывал отрезанные культы и все пластал-пластал взволнованную человеческую плоть, пока та наконец не успокаивалась в холодных эмалированных тазах. Альфонс многократно оказывался под минометным огнем, травили его и газами, а как-то раз санитарную палатку прошило длинной пулеметной очередью, полоснуло по животу стоявшую рядом медсестру. Его же ранение миновало и во время отступлений, хотя они не раз оказывались в окружении. До самого окончания войны Альфонс не получил и царапины, разве что помяло его чуток, как-то скукожило малость, глаза провалились и будто ошпарило лицо – не столько самой войной, сколько увиденным там. Глава семьи благополучно дожил до Версальского договора, его выщелкнуло из жизни несколькими месяцами позднее – не пулей, а последней волной испанского гриппа. Агонизирующая война отхаркивала и сплевывала, будто сама планета отомстила человечеству этой эпидемией – отомстила за свое изнасилование, отправив на тот свет почти в пять раз больше людей, чем унесли сражения, порожденные затянувшейся политической истерией.

Умерший Альфонс оставил обильное потомство на плечах жены с родственниками, которых, впрочем, было немало – никто из детей не чувствовал впоследствии нехватки любви и опеки. Постаревшая мать, фрау Ирма Майер, происходившая из почтенной бюргерской семьи, сейчас начинала каждое утро одинаково: кутаясь в шерстяную шаль, наполняла маленькую фарфоровую рюмочку вишневой настойкой и, отхлебывая по чуть-чуть, прищуренно заглядывала в увеличительные стекла – терзала газету до тех пор, пока не вытряхивала из нее все новости с фронта, точно так, как почти тридцать лет назад она теребила, казалось, те же самые газеты, с теми же самыми черными запашистыми строчками, о тех же самых фронтах, странах, жизни и смерти.

Ирма ухаживала за внуками, доходила в заботе об их здоровье до настоящей паранойи, в состоянии которой неизменно бранила невестку за недостаточное усердие, и ворчала на нее до тех пор, пока не доводила до слез; не то чтобы у фрау Майер был скверный характер, просто она слишком сильно переживала за Франца и своего старшего внука Курта, отправленного на Восточный фронт, – ей было необходимо отвести на комнибудь душу. За остальных детей она не беспокоилась: три дочери давно благополучно жили своими семьями и растили еще слишком юных, а потому защищенных от фронта малышей. Младшая Хельга вышла замуж за предпринимателя средней руки, переехала в Мюнхен и присматривала за небольшим пивным ресторанчиком неподалеку от Розенхаймерштрассе в двух шагах от знаменитого «Бюргербройкеллер», где в 1923-м во время пивного путча стрелял в потолок горластый Гитлер. Средняя дочь Грета полюбила веселого общительного баламута, дослужившегося теперь до унтершарфюрера и успевшего поработать в Дахау и Заксенхаузене. В скором времени молодой супруг ждал назначения на должность адъютанта коменданта одного из концлагерей, и было не исключено: через год-другой он сам возглавит один из них. Вчерашний весельчак и задира, супруг Греты держался теперь с подчеркнутой солидностью, стал тяжеловесен и молчалив. Старшая Агна, хоть и спуталась с каким-то актером-неудачником, утащившим ее в Швейцарию, где они жили достаточно бедно, все-таки была счастлива, что чувствовалось в каждом ее письме.

Летом в жаркую погоду фрау Майер любила сидеть на веранде и, отмахиваясь от насекомых влажным полотенцем, курить трубку покойного мужа – она все поглядывала на высокий бук и пару шершавых сосен перед домом, слушала строгие переливы колоколов собора Святого Сальватора, хмурилась и дышала пахучим, разопревшим до приторности лилово-розовым

вереском. Из-за ветвей пробивались черно-оранжевые крыши: подоржавевшие, как затвердевшие в камень апельсиновые корки, пыльные и избитые солдатскими сапогами.

После окончания Великой войны Франц Майер поступил в университет Франкфурта. Широкоплечий и крепкий, он увлекся боксом – впоследствии это помогало его продвижению по службе. Имея настоящий талант заканчивать бои нокаутами, Франц, несмотря на свои способности, драться не любил – тренер говорил, что ему не хватает жестокости и «свободной» головы; так оно, собственно, и было. Получив диплом, вместо того чтобы стать профессиональным спортсменом, чего все от него ждали, или по крайней мере остаться в крупнейшем городе земли Гессен, он вернулся в свой монастырский городишко и начал работать школьным учителем. Женился там на дочери владельца бакалейной лавки Марте Гирш, в которую влюбился еще будучи школьником. За почти десять лет брака она родила пятерых – теперь дети ждали победоносного возвращения отца с фронта, тычась каждое утро в оконное стекло своими теплыми носами.

Отправляясь на войну во второй раз, Франц весьма холодно простился с Мартой: эта женщина, воплощенный эталон Вильгельмовых *Kinder, Küche, Kirche*, была настолько же хороша собой, насколько неразвита и ограничена, так что Майер не раз жалел об этом браке. Марту не интересовало ничего, кроме постели, семьи и кухни, а ее частые походы в церковь и к мощам святого Бонифация напоминали, скорее, выгул на пастбище, чем духовную жизнь. Сам Майер посещению церкви предпочитал чтение книг – от отца осталась очень приличная библиотека. За исключением медицинских справочников и литературы на латыни, она могла порадовать его многим. Книжки лоснились кожаными переплетами, уютно скрипели в руке, принимая тепло ладони, а стройные корешки, безукоризненные и самодостаточные, фундаментальными прямоугольниками вычерчивались на полках, поглядывали сверху вниз чуть по-снобски, словно с усмешкой. Единственной причиной, по которой Майер не ушел от супруги еще в середине тридцатых, были дети – когда он впервые задумался о разводе, их уже было двое. Однако сейчас, после долгой разлуки, Франц признался себе в том, что переосмыслил отношение к семейной жизни: понял, насколько не умел ценить незамысловатую простоту этого уклада – телесного, надежного и обволакивающе-теплого, как материнское чрево; он совершенно искренне скучал не только по детям, но и по жене – рукой до Германии подать, пешком можно было дойти до дома, а все-таки щемило, доскребывало. Твердо решил: когда вернется, не станет требовать от супруги слишком многого, просто будет заботиться об этом надежном, незамысловатом существе, радуясь хлопотливому достатку и покою домашнего быта.

Семейная фотокарточка в нагрудном кармане – жена несколько насупилась: сильно волновалась, что плохо получится, сидела в кресле, сложив руки на коленях; дети улыбались за спиной матери бесшабашно и непосредственно, только самый младший, взгромоздившийся на колено Марты, смотрел сосредоточенным философом, еще более мрачным, чем мать. На заднем фоне желтела бледная стена. Старший сын Курт растянулся на полу, поперек всего снимка – ему всегда надо было выделиться, неважно в чем и как, энергия била из него ключом, так что парень редко справлялся с ее куражистой силой: подложив руку под голову, он улыбался широко и по-подростковому навязчиво. Францу не терпелось обняться с семьей: дети так быстро взрослеют, а Курт и вовсе с 1941 года находится в одной из айнзатцгрупп на территории Белоруссии, куда попал сразу по окончании Национал-политической потсдамской школы в старшем унтерском звании, и все ждет не дождется, когда же его произведут в офицеры.

Несмотря на собственные убеждения, отец не особенно приветствовал решение сына поступить в эту школу, но знал, препятствовать бесполезно, Курт все равно сделает по-своему. Когда речь заходила о чем-то важном, он, вопреки своей обычной взбалмошности, всегда становился серьезен и как-то слишком уж ревностно упрям. Лет в двенадцать Курт провел к себе в комнату подаренного на день рождения пони, потому что не хотел расставаться с ним даже на ночь – конюшня находилась на другой стороне двора у забора между дровяным сараем и

пухлым, крашенным зеленой краской амбаром. Пони фыркал и всхрапывал; проснувшийся от непривычных звуков Франц сразу понял, в чем дело, и начал долбить по двери кулаком, но маленький Курт принципиально не открывал до самого утра, загородив дверь ореховым комодом. Вспомнив сейчас этот эпизод, Майер не смог сдержать улыбки и даже тихонько засмеялся. Ему было трудно представить того впечатлительного мальчика не где-нибудь, а в эскадронах смерти *Waffen-SS*, но гауптман постепенно приунылся к этой мысли. Франц прекрасно понимал: во время войны старшему сыну все равно не избежать службы, поэтому будет лучше пройти ее в элитных войсках. Однако по переписке Майер чувствовал – Курт изменился до неузнаваемости, и это определенно настораживало. Кстати говоря, в последних нескольких письмах сын вскользь упоминал о скором переводе в Польшу, куда-то в Люблинский округ, под командование группенфюрера *SS* Одило Глобочника, в прошлом гауляйтера Вены, который теперь был уполномочен рейхсфюрером руководить созданием концлагерей на территории генерал-губернаторства. Подробности Курт Майер по понятным причинам опустил. Единственное, что уяснил отец, – Курт будет служить в отрядах *Totenkopf*¹ в одном из тех лагерей, что пока находится на стадии планирования.

Прохладный ветер обдувал лицо и топорщил зализанные к затылку светлые волосы гауптмана. Майер докурил сигарету и бросил ее с балкона. Под окном между двумя фонарными столбами рос каштан, с его растопыренных черных ветвей падали капли. Франц служил в штабе частей охранного полка Варшавы, а также являлся батальонным спорт-офицером. Первое время его посещали мысли подать рапорт на перевод в Россию: надоела административная волокита в штабе и возня в охранке, а необходимость слоняться у грязных стен еврейского гетто казалась унижительной. На данный момент его вклад в общее дело ограничивался лишь строительством лагеря для военнопленных в Пабьянице да запугиванием безответных евреев и послушных поляков. В том, что война завершится в ближайшие пару месяцев, гауптман уже сомневался: как ни старалась пропаганда скрыть этот факт, но группа армий «Центр» несколько выдохлась, утратив первый кураж; в декабре русские начали серьезное контрнаступление и в конечном счете смогли несколько оттеснить силы «Центра» от Москвы – *да, задержалась наша машина, да, чуть завязла, но к лету, после весенней распутицы, без сомнения... А что потом? Потом останусь в дураках, окажусь в стороне от важнейших страниц истории, а какой-нибудь занюханный ефрейтор-процельга с медалью «Мороженое мясо»² на груди будет презрительно на меня коситься.*

Большинство товарищей по боксу вступили в *Waffen-SS* и находились сейчас именно там: либо под Москвой, либо тут, рядом, на Украине и в Белоруссии, вместе с его сыном; все они неоднократно звали Франца, но, уже наслышанный о подвигах *SS*, он наотрез отказывался, что же касается перевода в один из общеармейских корпусов группы армий «Центр», то с этим Майер, несмотря на сильный соблазн, просто медлил. После убийства пятерых польских солдат, которых Майер собственноручно убрал из винтовки во время боя на подступах к Варшаве, в нем что-то дрогнуло и забродило.

Тридцать лет назад, во время Великой войны, Франц из-за ранения успел принять участие лишь в нескольких крупных боях. Горсть этих сдавленных артиллерийским и минометным огнем жутких месяцев он не прожил даже, он пронесся сквозь них ошпаренной болванкой, вслепую всаживая пули в пороховые тучи и смутные контуры касок, в плотки задымленных окопов и отдаленные вспышки ружейных стволов. Майеру до сих пор казалось, что тогда он ни разу не попал в живую цель, по крайней мере эта мысль легко внушалась самому себе, потому как он не видел убитых им людей. Лично для него та война была совсем другой, тогда

¹ «Мертвая голова» – подразделение 33, отвечавшее за охрану концентрационных лагерей Третьего рейха.

² Медаль «Зимнее сражение на Востоке 1941/42» вручалась бойцам, воевавшим на советско-германском фронте зимой 1941–1942 гг. Немецкие солдаты прозвали эту медаль «Мороженое мясо», так как многие награжденные ею получили обморожение. *Примеч. ред.*

он чаще не сражался, а шарахался от взрывов, скатывался в обглоданные воронки. Напяливал на себя противогаз, карабкался на возвышенности, перешагивая через человеческие потроха, когда желто-зеленый хлор, бесцветный фосген с запахом прелого сена или горький иприт заливали землю своей гущей. Покореженные люди-тени, не успевшие надеть химзащиту, хватались за горло, их выворачивало, они метались и кричали – остроголовые пешки скидывали свои пикельхельмы, царапали лицо, а Франц все карабкался и стрелял. Он продолжал стрелять в сторону противника, в никуда, в завесу, в бездну, хотя в те минуты уже не сомневался в бессмысленности своей стрельбы, но все-таки продолжал стрелять – чисто рефлекторно.

Когда после госпиталя, в котором он пролежал полгода, ему вручали Крест и говорили громкие слова о беспощадности к врагу, о твердости и героизме, Майер испытывал смешанные чувства: в глубине души он понимал, что получил награду за умение стрелять в дым, за выработанную привычку к вони, вшам, голоду и виду освежеванных человеческих тел, за умение преодолевать страх и делать вид, что та война и каждый ее бой имели хоть какой-то смысл.

Его новая война, больше похожая на прогулку, была другой: теперь Франц отчетливо видел контуры убитых и их черты, почти шутя и между прочим стертые легким движением его руки; он видел и помнил выражения каждого смятого им лица – эти растаявшие, искаженные от боли черты, когда пуля попадала в живот или грудь; видел и помнил то резкое обрывание жизни в глазах и окостенение вздрогнувших конечностей, когда пуля впивалась в голову – одним словом, он имел возможность чувствовать их угасающее присутствие. По окончании *того* боя, на подступах к Варшаве, Франц даже подошел к одному из пятерых: красивый юноша с острым кадыком и родинкой над бровью лежал на груди кирпичей, вскинув руки, чуть прикрывая ими окровавленное лицо, как будто пытаясь отмахнуться от смерти, стряхнуть с себя ее холод. Поляк напомнил ему Курта: у него тоже выпирал кадык, а главное, глядя на черты убитого, Франц почему-то уверился, что у этого парня при жизни была такая же безудержная улыбка, как и у сына. Майеру стало тошно.

Именно тогда, почти три года назад, когда он еще был обер-лейтенантом, в его душе впервые что-то защемило, и он стал как-то странно чувствителен и внимателен ко всему происходящему вокруг. Храброму гауптману-спортсмену, всегда бывшему примером для подчиненных, не нравилась эта перемена. Франц заглядывал в себя и понимал: с ним происходило почти то же самое, за что раньше так сильно его ругал тренер по боксу, когда во время схватки Майер начинал слишком много думать и сочувствовать. Это изобилие мыслей очень мешало ему просто и без рефлексии выполнять приказы с ледяным лязгом, не ставить себя на место врага, не предполагать и не взвешивать. Было очевидно: с такой головой в Россию лучше не соваться, поэтому Франц решил отложить перевод на неопределенный срок.

Гауптман отогнул перчатку и посмотрел на часы, отхлебнул коньяка из фляги, надел фуражку и вернулся в служебную квартиру. Прикрыв балконную дверь, сделал несколько шагов по мягкому ковру. Пробежался взглядом по лакированному столику с переполненной чугунной пепельницей, разломанной плиткой шоколада и тарелкой с кусками недоеденной ветчины. У стола валялась пустая бутылка из-под портвейна. Франц окинул взглядом взъерошенную постель, еще не заправленную ефрейтером Гансом, толстощеким старательным прусачком-ординарцем, отправленным с утра за провиантом, похлопал по карманам и, убедившись, что ничего не забыл, накинул на плечи шинель, взял потертый планшет и спустился по лестнице, скрипя сапогами.

У подъезда стоял солдат с винтовкой. При появлении гауптмана он щелкнул каблуками и выставил руку в приветствии. Майер ответил беглым шлепком ладони по воздуху и вышел на тротуар. Его шофер Штефан всегда парковал автомобиль не у подъезда, а на другой стороне улицы: так приказал сам Майер – эти несколько лишних шагов до машины по утрам были ему необходимы, чтобы наполнить легкие кислородом и освободить голову от противоречивых шумов-мыслей, густо и тягуче поднимавшихся из глубины болотистым илом после каждого

пробуждения. Со своего рассветного поста шофер поглядывал на подъезд начальника, на часы, на окна – каждое утро он неизменно был здесь. Пожалуй, гауптман не удивился бы, если б все здания Варшавы сровняло в несколько часов с землей, – все-таки вселенная войны каждой своей ночью и каждым новым днем несет слишком много крутых поворотов и разрушительных пустот, – но вот представить, что поутру его не встретит чистенький *Opel* с вмятиной на бампере и пыливый взгляда полусонного Штефана, который опять всю ночь ухлестывал за какой-нибудь смазливой полькой, было решительно невозможно.

Дверь захлопнулась, машина тронулась. Вдоль дороги шагали антрацитовые тени-прохожие, горбились, шаркали ногами, потирали глаза и кашляли, робко взглядывая в окно автомобиля на погоны гауптмана, на петлицы, глаза избегали глаз, смотрели исподлобья, вдогонку. Майер любил форму, гордился своим государством и являлся ревностным членом НСДАП. Однако его смущало то напряжение, что сковывало аборигенов при его появлении. Франца, в отличие от многих сослуживцев, не щекотало и не раззадоривало это ощущение сильного хищника среди млекопитающих. Мало того, он часто с гадливостью думал о том, как бы шарахались от него поляки, как замирали бы при его появлении, будь на его петлицах руны SS, если даже вид офицерского общевойскового мундира вселяет в них такой страх. Сложная смесь национальной гордости немца-победителя и тревожное ощущение противоестественности этого чувства раздражала Майера.

Когда машина проезжала мимо Саксонского сада, гауптман привычно задержал взгляд на скульптуре с отбитой головой. Разбомбленный фонтан пустовал – он замер и молчал, как и изрытый траншеями сад. Голые ветви переплетались скрюченными пальцами, а срезанная, сбита осколками кора вскрывала древесные волокна-проталины – гладкие и желтые выщербины, залитые растительным соком.

Автомобиль был пропитан теплым салонным духом: запахом кожи и дешевого табака.

– Штефан, дурная твоя голова, опять курил это польское дерьмо?

Шофер бросил виноватый взгляд в зеркало заднего вида.

– Виноват, герр гауптман, свои сигареты закончились, пришлось брать у местных...

Франц выставил перед собой указательный палец.

– В следующий раз пачку этой дряни заставлю сожрать... Я не шучу, Штефан...

– Это не повторится, господин гауптман.

Майер покосился на водителя: выбритая шея с небольшим раздражением – то ли от бритвы, то ли натер воротник кителя. Посмотрел на оттопыренное ухо – мешковатое, сосудистое, затем снова повернулся к окну.

По обочине на скрипучем велосипеде катил старик в потрепанной кепке-пролетарке и мятом плаще, застегнутом на все пуговицы. Небритый, с шершавым, каким-то чешуйчатым лицом, похожий на усталого бульдога, он вяло крутил педали. К багажнику бечевкой был привязан деревянный ящик с бутылками молока. Кирпичная мостовая немилосердно обстукивала покрышки тонких велосипедных колес – бутылки, поджатые досками, чуть подпрыгивали и брэнчали, молоко ласкалось к прозрачным стенкам, облизывало гладкое стекло изнутри. Стекло-лянное дребезжание почему-то напомнило Майеру, как его средний сын Герман до десяти лет скрипел зубами во сне и часто мочился в постель, вызывая негодование Марты. Франц относился к Германову детскому недугу сдержаннее. Разумеется, зрелище раскачивающихся на веревках свежестиранных простыней задевало отцовское самолюбие и несколько беспокоило Франца, но даже ему – мужчине, ветерану войны, боксеру – было странно видеть, с каким остервенением на Германа набрасывалась мать. Она кричала сыну, что настоящий мужчина должен быть хладнокровным и сдержанным, непреклонным, бескомпромиссным, все кричала-кричала и размахивала руками, сжимая простыню с волнистыми разводами, а потерянный Герман не знал, куда деваться, и все прятал-прятал взгляд. Как-то раз Марта разошлась настолько, что принялась тыкать очередной такой меченой простыней в лицо сына; Францу

сделалась омерзительна жестокость жены, он грубо ее одернул, заступившись за мальчика, заломил руку жены, выхватил простыню и швырнул ее в дверной проем, а затем с гадливостью откинул от себя и эту худую жестокую руку. Марта в недоумении посмотрела на мужа, всхлинула и убежала к себе в комнату. Воспоминание покорежило Франца, и один за другим, точно продавленные этим эпизодом из прошлого, в голову хлынули иные, все те случаи, от которых корбило его как мужчину и человека с достаточно сложным и противоречивым внутренним миром.

Все ситуации Марта разделяла на черные и белые, для каждого человека у нее был запасен ярлычок, как шляпа по размеру, платок к цвету глаз, – она смотрела, обнюхивала и начинала шарить в своих потаенных шкафчиках-сундучках, пытаясь подобрать к новому человеку соответствующий колпак, и, только когда нахлобучивала его, наконец успокаивалась. Франца выводило из себя то, как однозначно она определяла силу, слабость, любовь, материнство, дружбу, культуру: испугался – значит трус; плачет – значит слаб; причащается – значит нравственен; обивает пороги пивной – значит пьяница. Супругу раздражало, когда Майеру случалось слишком углубиться в книги – она считала, что во всем должна быть мера, а шелестеть страницами до глубокой ночи, вместо того чтобы чаще прижиматься к ней, ласкать ее тело или даже просто спать, казалось ей чудачеством. Склонность мужа к книгам она тоже считала проявлением слабости, какой-то хрупкости, непозволительной для мужчины – да, она считала, что образование красит мужчину, но излишняя страстность в этом деле казалась ей аномальной. В некотором роде книги Майера были в ее глазах сопоставимы с желтыми разводами на простынях Германа. Марта выходила замуж за красавца-боксера, за ветерана Великой войны, раненого фельдфебеля с крестом. Теперь же он по непонятным для нее причинам стал школьным учителем и пялился без конца в свои дурацкие книжки. Она считала, что супруг использует библиотеку для того, чтобы оградиться от мужских обязанностей. Это было справедливо лишь отчасти: Франц действительно стал постепенно избегать исполнения супружеского долга, он больше не испытывал к своей женщине тех чувств, что когда-то так сильно обжигали, теперь видел только постылое, навязчивое и какое-то пустопорожнее тело, которое к тому же с каждым годом становилось все менее привлекательным, каким-то рыхлым, но считать это единственной причиной было бы крайне поверхностно, на самом деле Майер просто любил книги. Впрочем, жена никогда не упрекала Франца напрямую, почти не говорила о своем недовольстве и неудовлетворенности, предпочитая брызгать желчью по пустякам и провоцировать скандалы на пустом месте. И неизвестно, как далеко она бы зашла, если бы не боялась развода и фрау Ирмы: когда к ссорам молодых подключалась мать Франца, Марта смолкала – поднимала белый флаг, поправляла фартук и искала чем бы занять свободные руки. Франц не любил вторжений в отношения с женой и многократно одергивал фрау Ирму, а та, в свою очередь, понижающе соглашалась, кивала, обещала больше не вмешиваться, но в силу воинственного характера при следующем же конфликте в дверях снова вырисовывался ее непререкаемый силуэт. Также Марту очень отрезвляло, когда обычно спокойный и доброжелательный супруг доходил до крайней точки эмоционального состояния – в такие минуты в его глазах появлялись такие холод и отчуждение, что она сразу спохватывалась, становилась ласковой и послушной. Снова надев форму и вернувшись в бокс, Франц опять вырос в простодушных глазах жены, так что, когда в 1939-м Франц уходил на войну, Марта стояла на носочках и отирала щеку, провожая трепетным томным взглядом широкую спину, утянутую серым офицерским сукном.

Гауптман поморщился. Нет, все-таки он не любит Марту, и им давно пора бы развестись. С трудом сдержал насмешку: каких-нибудь полчаса назад с тоской поглядывал на семейный снимок, ласкал взглядом супругу, и вот рядом проехал молочник с дребезжащими бутылками и напрочь раздавил вел осипедными колесами скопившиеся чувства. Майер решил не загадывать: *главное сейчас – дожждаться победы, а там будет видно.*

Франц поспешил отвлечься от прошлого, достал две сигареты. Одну протянул Штефану, вторую обхватил сухими губами, так что она моментально приклеилась.

Водитель расплылся в довольной улыбке:

– Герр гауптман... Египетские? Какая роскошь... Благодарю вас, господин капитан.

Штефан осторожно убрал сигарету в нагрудный карман, опекая ее лодочкой ладони, дабы не сломать такое редкое для него, ефрейтора, лакомство.

Майер прикурил и глубоко затянулся. Опустил окно, протащил густую струю дыма через легкие, задержал внутри, как будто со вкусом обсосал все никотиновые соки затяжки, после чего выдохнул дым через ноздри. Влажный воздух окропил лицо мелкими каплями, а прохладный поток ветра, заостренный скоростью, несколько взбудрил, помог отряхнуться.

Через несколько минут показалась стена гетто с блестящими осколками стекол и колючей проволокой поверху. Штефан повернул на Кармелитскую улицу, у въезда в еврейский квартал притормозил, пропустив повозку с красным крестом, – та подъехала к пропускному посту и тоже встала. Костлявые лошади принялись грызть длинную доску шлагбаума, а когда молодой поляк с заячьей губой и пятном волчанки на лице дернул вожжи, чтобы их оттащить, те недовольно фыркнули, но потом все-таки остепенелись и стали ждать. За изуродованным поляком сидела медсестра в вязаной шапке и пальто с меховым воротником, из-под верхней одежды торчали полы белого халата. Рыжеволосая девушка склонила голову набок: о чем-то размышляла. Франц опустил стекло еще ниже и высунулся в окно: рыжая ржавь частых веснушек нисколько не портила прав ильные черты лица медсестры, а задумчивая мягкость взгляда и пухлые губы откровенно притягивали внимание. Девушка понравилась гауптману, так что пока прибалт-вахман и рядовой эсэсовец у ворот проверяли ее документы, Майер беззастенчиво рассматривал медсестру, но вот Штефан громко посигналил и дернул *Opel* вперед, резко пробуксовав колесом, а повозка скрылась из виду, провалившись в туман, точно в вату.

* * *

Отто Айзенштат, известный польский архитектор, устало потирал переносицу, глядя на кирпичную трехметровую стену с колючей проволокой: стена теснила, обрушивалась на жизнь тяжелым обухом, расчлняла пространство Варшавы бездушными линиями толстого ломаного шрама. Пористый кирпич смахивал на черствую кожу. Иногда казалось – поверхность стены двигается, поднимается и опускается, как китовая спина. Айзенштат часто думал о том, что еврейский квартал, этот посмертный чертог, если смотреть на него с высоты птичьего полета, должно быть, напоминет огромную, без конца чавкающую пасть. По крайней мере, сам Отто постоянно ощущал себя в чьем-то огромном брюхе – его словно уже давно прожевало, щедро сдобрило желудочным соком, залило и смазало с лихвой, но еще пока не выплюнуло, в отличие от других, – тех, кому повезло меньше.

Архитектор шмыгал носом, прятался в воротник пальто. Бледная морось облепила контуры зданий и человеческих фигур, склеила их вязким туманом. Угрюмая тяжелая влага давила с неба, припечатывала к земле россыпью мелких капель, похожих на свинцовую пыль, сбивала штукатурку, проклеивалась сквозь крыши домов и гасила печурки. Граница гетто – ненавистная, но намоленная, как стена плача, – стискивала щипцами, не давала дышать. В тенистых углах переулков раскидистые россыпи липкого снега напоминали взмокшую хлорку. Вялые пальцы архитектора давили на переносицу, раскачивали сонливость, теребили ее и тянули, точно занозу из пальца.

От скудной и однообразной пищи Отто плохо спал. Хотя его желудок не сворачивало от голода, и он не видел во сне пшеничные булочки с луком, пирожки с анисом, фаршированную рыбу или жареного гуся, как то бывало с другими, все-таки истощение организма давало о себе знать. По меркам гетто, семья Айзенштатов питалась просто прекрасно, однако и после

их густых супов с перловкой, которую Отто не выносил даже на голодный желудок, он спал урывками, словно воруя хлипкий сон у вечности. Архитектора мучили сильные головные боли и диарея, иногда ему казалось, что желудок просто выплюнет себя, выдавит защемленным геморроидальным узлом, но, даже когда ему удавалось заснуть, по утрам он вздрагивал, как если бы спал на отколовшейся льдине. Возможно, так проявлял себя подавленный страх или просто шалили износившиеся нервы, но состояние постоянной тревоги определенно осточертело, и Айзенштат хотел во чтобы то ни стало доказать себе: *я способен на большое дело*. Все свои телесные перебои он списывал не столько на условия жизни в гетто, сколько на состояние внутренней неудовлетворенности собой: он слишком мало делал для подпольных организаций, гораздо меньше того, что мог бы.

Из-за германского имени Отто часто спрашивали, откуда он родом, и удивлялись, что архитектор – коренной варшавянин в пятом поколении. В XIII веке его предки осели в австрийском городе Айзенштадт, но через двести лет бежали от преследований Альбрехта V – торопились прочь от массового крещения и сожжения, рассыпались вместе с разрушенными синагогами.

Отец Отто, глава семьи Айзенштат реб Абрам, посвятил жизнь музыке. Он играл на виолончели, средний сын Марек – на скрипке, а самая младшая дочка Дина готовилась к карьере оперной певицы: уже сейчас, в свои семнадцать, она ласкала слух родных хорошо поставленным сопрано. Родители ждали, что и их первенец пойдет по стопам отца, но Отто больше нравилось рисовать и лепить из глины, а подростком он до одержимости увлекся зарисовкой городских панорам тушью или углем, поэтому после окончания хедера начал интенсивно готовиться к поступлению в Архитектурную академию, которую и окончил с отличием. Единственное, что связывало Отто с музыкой, – старая детская флейта, много лет назад подаренная матерью. Ребенком Отто часто играл, но с годами флейта наскучила и перекочевала в громоздкий кованный сундук, набитый линиялыми открытками, почтовыми марками, винными пробками, затвердевшим в кость пластилином, оловянными солдатиками да сигарными коробками с высохшими насекомыми, – в усыпальницу разного детского барахла.

Изнанка стены квартала напоминала утробу крематория. Рыхлый кирпич, исписанный белой краской на польском и идише, казался горьким и уставшим, пропитанным смертью, как заскорузлая, выцветшая и ссохшаяся губка. Длинные зубчатые нити-молнии тянулись над стеной гетто: проволока и блестящие осколки стекол серебрились в утреннем тумане, разрезали его бритвой, а лохмотья, оставленные на колючке торбами и мешками, которые перебрасывали контрабандисты, колебало ветром – черные пакли драной холстины извивались тягучими водорослями, тянулись к свободе вьющимися растрепанными нитями.

Отто оперся плечом на доску объявлений: желтоватые прямоугольники, исписанные неровным почерком, предлагали обмен обуви, мужских костюмов, белья, платьев и украшений на продукты питания – хлеб, картофель, крупу, репу, свеклу или капустные листья. Из серой мглы сверху вниз настороженно-брезгливо заглядывали за колючую проволоку, сытые окна домов «свободной» Варшавы – даже несмотря на оккупацию, уцелевшие после артобстрела и бомбежек здания выглядели на фоне гетто благополучными и статными.

Высокий Айзенштат все чаще горбился, бессознательно пытаясь спрятать свой рост: многих немцев раздражало, что они вынуждены смотреть на еврея снизу вверх. Отто не был исключением: в целях безопасности все физически сильные, здоровые, состоятельные, красивые евреи и еврейки старались казаться как можно более слабыми, болезненными, сырими и неприглядными.

Архитектор сунул руки в карманы пальто. Несколько месяцев назад он нащупал в подкладке дыру и теперь постоянно ее теребил – дурацкая привычка нервного человека. Поймал пальцем гладкую прохладную монету, завалившуюся в дальний уголок, и стал скрести ее, приподнимать и переворачивать. Переминался с ноги на ногу и мусолил глазами ненавистный

блокпост: черно-белая доска шлагбаума и зевающий солдат, как крышка, отгородили от жизни, нахлобучили на голову пыльную мешковину. Из-под каски солдата торчал кончик сигареты, издавдала похожий на хищный зуб. Немец стоял непоколебимым и сытым болваном, гранитным бонзой, мускулистым и стройным, почти античным, – самозванный нибелунг, порождение тумана и смерти, стражник Дита, равнодушный привратник с автоматом и в тяжелой каске, которая бросала матовые блики и отражала ущербный свет от желтеющего в тумане висельника-фонаря, рассекающего влажный, клеенчатый воздух.

Промокшие ноги Отто устали, но сестра было некуда – скамейки растащили на дрова еще до объявления генерал-губернатором Гансом Франком в октябре 1940-го о создании гетто и окончательном разделении Варшавы на немецкий, польский и еврейский районы. Стараясь перетерпеть боль в ногах, Отто сильнее налегал плечом на стену, чтобы не уступить соблазну и не сестра на мостовую.

В природе терпения скрывается какая-то пространная многоликость. Сейчас архитектор заставлял себя терпеть слабость в ногах, потому что сестра на мостовую значило уронить себя, стать одним из тех сломленных доходяг в обносках, которыми кишмя кишел квартал. В другие отрезки жизни он воспринимал необходимость терпеть физическую боль иначе. Подростком в драках с мальчишками – как инициацию, кровавый ритуал возмужания, а в более зрелом возрасте стремился к преодолению страха высоты и темноты, который когда-то сковывал его, будто паралич, а теперь казался не стоящим внимания пустяком, пыльным пугалом, потешной бутафорией из детского чулана. Отто чувствовал, что в этом преодолении заложен основной инстинкт жизни – не только мужской, но и женской. Человек рождается в преодолении боли и страха, познает через него свою самобытность, осваивая заложенные в себе роли, утверждая свое духовное «я».

Ему вспомнилась история из далекого прошлого. Он, девятилетний, шел в хедер, а мимо на велосипеде проезжали два поляка из компании мальчишек-старшекласников, державших в страхе всех еврейских ребят. Один из подростков, тот, что сидел на багажнике, выставил ногу и пнул его на скорости, и маленький Айзенштат, который обычно приходил в немой ужас при виде этих переростков с дубовыми лбами, громогласных детин из неблагополучных семей, почти рефлекторно повернулся и бесстрашно дал сдачи: сначала пнул ботинком по спицам велосипедного колеса, а потом приложился кулаком к растерявшемуся от удивления весельчаку. Тут Отто опомнился и ужаснулся собственной смелости, однако виду не подал. С чувством собственного достоинства, неправдоподобно медленно зашагал дальше, оставляя своих заклятых врагов за спиной, по секундам просчитывая: *вот-вот, теперь они остановились, один из них слез с велосипеда, да-да, вне всяких сомнений, я чувствую на затылке тяжелый взгляд, наверное, уже бежит, а сейчас-сейчас пора бы ему уже замахнуться, ударить меня.* Сжимаясь в предчувствии мести, которая должна его настигнуть, маленький Айзенштат пересилил себя и даже не повернулся. Зажатый обычно, робкий среди сверстников, боязливый молчун шел теперь, как власть имущий, как престолонаследник и человек силы, сам себя при этом не узнавая. Удар настиг его – даже не удар, а жалкий, размазанный тычок в лопатку, абсолютно безболезненный. Отто понял: детина бьет только для того, чтобы не уронить свой авторитет в глазах приятеля. И что самое главное, Отто почувствовал в этом тычке страх: робость удара выдавала боязнь того, что Айзенштат снова даст сдачи, обнажала трепет перед твердостью походки и прямой спиной гордого человека, который не оглядывается, хотя прекрасно знает, что его ждет сзади. В ту минуту Отто не в полной мере осознал, почему, собственно, вдруг решил поведи себя так, но позднее пришел к убеждению: тогда он стал мужчиной. Именно тогда, а не несколькими годами позже, в тот липкий, пахучий и постыдный вечер, когда лишился девственности с продажной шиксой в дешевой гостинице, в комнате с некогда белыми занавесками на пыльном окне, занавесками цвета свадебного платья и невинности, теперь уже облезлыми, пожелтевшими от никотина, со следами от губной помады и прожженными сига-

ретным усердием дырами. На заляпанном столе валялось надкушенное яблоко – ржавый налет окислившегося железа схватил белую мякоть спелого плода, а Отто лежал рядом с той девицей и все смотрел-смотрел, словно Адам, то на изуродованное укусом, лишённое полноценности яблоко, как будто видел в нем себя, то сквозь дырявую занавеску на треснутое стекло и пыльную гущу подоконника, то на дряблый женский живот и фильдеперсовы чулки, на бурые пятна припудренных синяков на стройных, но каких-то неопрятных ногах. Обнаженное женское тело томилось, прело переспелой тыквой, теплилось плотным мясным душком. Юному Айзенштату даже казалось, что оно тлеет и рассыпается у него на глазах мягким торфом, пахучим перегноем. Девица взяла край простыни и отерла сперму со своего живота, потом о чем-то спросила, но Отто не ответил.

Промозглое утро встряхнуло задумавшегося архитектора резким порывом ветра. Тяжелые капли стекали с крыш, стучали по асфальту, вбиваясь в землю длинными острыми гвоздями. Невольно отрыгнулся заплесневелый картофель, который пришлось есть всю последнюю неделю: сморщенный и мягкий, как изюм, он походил на куски чернозема, от одного его вида Отто одолевала тошнота. С нелегальными продуктами возникли перебои, многих контрабандистов задержали и расстреляли, поэтому даже Айзенштату с его многочисленными связями приходилось несладко. Его мать Хана выменивала на крупу и кильку те немногие ценные вещи, какие удалось сберечь от немцев. Сестренка Дина штопала одежду, средний брат, нервный Марек, играл в ночном ресторане «Казанова» для еврейских делег. Несмотря на количество рабочих рук в семье и на некоторые влиятельные знакомства, последнее время основу рациона все равно составляли перловка и этот подгнивший картофель.

Абрам Айзенштат умер несколько месяцев назад. До недавнего времени он продавал на рынке книги и подхватил там сыпной тиф. Седая щетина, вспотевший лоб и блуждающий взгляд отцовских воспаленных глаз, некогда таких добрых и внимательных, а во время болезни побагровевших, с лопнувшими сосудами, до сих пор стояли в памяти. Старик бредил, ему все казалось, что в дом тянутся чьи-то холодные руки, которые хотят его забрать, и больше всего его пугало, что на этих жутких пальцах не было ногтей, отчего они походили на клубки червей, смертоносных и рыхлых, как плесень. Абрам метался и несколько раз падал с кровати. Пугающая сыпь расплзалась по всему телу и набухла жуткой коростой.

Когда отец скончался и умолкли его вскрики и хрип, Отто почувствовал постыдное облегчение. Сейчас было неприятно вспоминать то ощущение освобождения, тупое и циничное, но он видел: другие члены семьи испытывали нечто похожее и прятали друг от друга глаза. Утешало и отчасти оправдывало эмоциональную огрубелость лишь то, что мучения отца закончились, а шанса выздороветь все равно не было. Личные вещи главы семейства сожгли, поспешно уничтожив память о дорогом человеке, словно отряхнулись, опасаясь заразного наследия. Одежда и белье горели в ржавой бочке, Отто смотрел в огонь и помешивал черную труху чугуном штырем; перед глазами все еще стояли очертания лица Абрама, рождаемые языками пламени: вот отец, еще совсем молодой, сидит перед пишущей машинкой и морщит лоб, глядя поверх золотых очков на свежееотпечатанные страницы, высокий лоб заливают уютный, хлебный свет настольной лампы, выделяя тенью серьезные серые глаза, а жидкая борода без единого седого волоска кажется белой от света. В кабинете отца, заваленном нотными листами, всегда пахло свечами, типографской краской, книгами, кожей и чернилами; улыбаясь, он сильно шурился, а во время еды у него смешно двигались уши, изрезанные фиолетовыми прожилками. И вот теперь все эти обрывки воспоминаний растворились в пламени ржавой бочки, лишь потрескивали и тлели, словно опаленная шерсть...

Архитектор оттолкнулся от доски объявлений и пошел по сырой улице, стараясь не терять из виду забрызганный шлагбаум. Блестящий асфальт хлюпал под ногами, лицо обдавал холодный ветер; из темных окон, похожих на потухшие глаза мертвых, выглядывали костяные лица с черными впадинами вместо глаз и плотно сжатыми губами; из подъездов появлялись

спешащие осунувшиеся люди – вялая толкотня усталых тел; в переулках мелькали кое-как сбитые из обтянутых тряпьем досок шалаши. Обитатели шалашей еще спали, их ноги торчали из темноты. Сильный запах карболки давил в лицо, наждаком драл горло, вызывая слезы.

На обочине лежал мертвый подросток лет тринадцати в изодранной дерюжке и разных башмаках: на одной ноге – черный ботинок с массивной подошвой, на второй – коричнево-белый лакированный штиблет с щегольским носом и оторванным каблуком. Подростка еще не раздели, значит, он только что умер: даже самые драные лохмотья с трупов снимали и обменивали на несколько картофелин. Окоченевшая кожа мальчика сливалась с асфальтом влажным листом бумаги, вокруг глаз клубились мухи, ползали по деснам и выпяченному языку. Люди брэнчали котелками и ведрами, перешагивали через покойника и торопились, каждый стремился успеть оторвать от сегодняшнего дня еще один крохотный кусочек жизни.

Отто проходил мимо бледно-зеленых мусорных баков, мимо залатанных фанерой оконных рам, ржавых решеток, разбитых стекол и кирпичей с отслоившейся штукатуркой. Окна смотрели на улицу слепыми пыльными прямоугольниками, похожими на рты задыхающихся людей. Мимо проехал знакомый грузовик с зарешеченными окнами. В кузове сидели заключенные тюрьмы Павяк, которых перевозили в Главное управление гестапо на аллею Шууха; из-за решеток на Айзенштата глянуло несколько затравленных глаз, промелькнули напряженные пальцы, сжавшие прутья, и бледные, изуродованные мукой лица; казалось, что узников не везут, а тащат волоком стальными крюками по каменистой дороге. Архитектор знал: обратно грузовик привезет уже не людей, а то, что от них останется, – беззубые шматы окровавленного мяса, раздавленные в паштет уши, обрубки половых органов и руки с вырванными ногтями. За грузовиком следовала машина сопровождения с конвоем. На этот раз из окна никто не высывал палок с вбитыми в них гвоздями и бритвами, никто не калечил случайных прохожих, хотя это было обычным развлечением гестаповцев, которые испытывали почти что генетическую потребность смочить руки кровью, пока ехали из Павяка на аллею Шууха. Судя по всему, везли каких-то важных преступников, и гестапо просто избегало портить аппетит перед ожидаемой пыткой, запланированной с особенным размахом.

Отто передернуло – не то нервы, не то какой-то болезненный рефлекс. Несмотря на холод, лоб покрыла испарина. Улицу постепенно запрудило людьми. Начался очередной день – очередная схватка за выживание. Среди прохожих засновали подростки-карманники в драных ушанках, до слуха доносились обрывки шепота и криков. Толкотня нарастала, люди отмахивались друг от друга и брюзжали. Архитектор прижался к стене и смотрел на своих соплеменников выцветшими, отстраненными глазами.

Панны Новак все не было. Порядком замерзший Отто начал кусать губу: обычно Эва не задерживалась. Архитектор тревожился за ее жизнь: за несколько месяцев своей деятельности Польская организация спасла руками Эвы более пятисот детей. Хрупкая белолицая девушка с рыжими волосами и мандариновой россыпью веснушек, Эва Новак одна или вместе с помощниками выносила малышей в санитарной сумке, выводила через подвалы домов, канализацию, провозила в вагоне проходящего через гетто трамвая, передавала через окно здания суда, стоявшего на самой границе: одной своей частью на еврейской стороне, второй – на арийской. Айзенштат знал, как много отдало бы гестапо за ее голову.

Услышав скрип остановившейся телеги, Айзенштат поднял глаза и облегченно выдохнул: у шлагбаума стояла лошадь с повозкой, панна Новак в вязаной шерстяной шапке сидела среди железных банок и коробок со средством дезинфекции, а правил усталой кобылой уже знакомый Айзенштату молчун Яцек с заячьей губой и волчанкой, залепившей подбородок, часть щеки и шею. При взгляде в его умные глаза складывалось впечатление, будто этот человек знает слишком многое: какие-то обрывки будущего и скрытые глубины настоящего, тайные мотивы и мысли, притаившиеся в уголках сознания. Стоило только погрузиться в эти глаза, и лицо становилось прозрачным, волчанка и заячья губа казались не такими уж и отталкивающими;

от Яцека исходила энергетика цельного, сбывшегося человека, знающего, ради чего он живет, и готового в любой момент ради этого умереть.

Яцек жил очень замкнуто и до войны все свободное время отдавал книгам и охоте. Разговаривать с людьми он робел и, если не мог отмолчаться, от смущения казался гораздо глупее, чем был в действительности. К тому же он неумело, часто обрывая, строил фразу, разные нелепости засоряли его речь, но Яцек плодил языком всю эту речевую макулатуру не потому, что был глуп, а потому, что не знал, как заговорить с людьми о тех сложнейших вопросах, которые он давно обдумал и тщательно взвесил; его мысли были слишком громоздки, чтобы так запросто найти для них форму, а большинство окружающих его людей были слишком не глубокими, чтобы избежать соблазна повесить на Яцека ярлык «недалекого», основанный на поспешном выводе. Отто же с первого дня знакомства безошибочно определил: Яцек тысячекратно умнее, чем кажется, однако архитектору до сих пор не удалось преодолеть ту стену-завесу, за которой Яцек скрывался от мира.

Тут Отто разглядел, что рядом с повозкой остановился военный *Opel*, из машины выглянул красивый офицер и как-то слишком уж внимательно рассматривает Эву. Айзенштат сжал кулаки и размашисто зашагал к шлагбауму, расталкивая прохожих. Решил про себя: если попытаются арестовать панну Новак, он выхватит у солдата автомат, убьет Эву, прибалта-вахмана и столько немцев, сколько успеет. Рыжие волосы медсестры выбились из-под шапки, ее спокойные голубые глаза изучали круглолицего прибалта с бесформенной ряхой и мясистым подбородком, похожим на свиную рульку. Солдат проверял документы Управления здравоохранения; санитаров всегда пропускали: нацисты слишком боялись разрастающейся эпидемии сыпного тифа, способной перекинуться на личный состав вермахта и *SS*.

Отто остановился у шлагбаума, теперь он в один-два прыжка мог оказаться рядом с прибалтом. Поймал на себе вопросительный взгляд солдата, сидевшего в будке, тот встал и подошел поближе. В голове Отто зазвенело, он чувствовал, что-то назревает, сердце лихорадочно застучало, но вот *Opel* взвизгнул сигналом и резко тронулся, а эсэсовец поправил висевший на плече *MP-40* и пропустил повозку. Шлагбаум поднялся, а Отто, осознавший, что чуть было не навлек на всех беду, сделал вид, будто обознался, увидев за шлагбаумом кого-то из знакомых, махнул рукой, зевнул и с равнодушным видом свернул за угол. Он успел увидеть взгляд заметившего его Яцека, поэтому, не оглядываясь, двинулся по улице, зная, что через минутую другую повозка его нагонит.

Колеса телеги давили лужи с потрескавшимся, дрогнувшим под ее тяжестью небом. Архитектор чувствовал, что простыл, в горле першило, подкрадывался кашель. Сегодня у панны Новак не получилось достать машину, это означало дополнительные трудности. Спрятать ребенка в телеге было гораздо сложнее. Эва озябла, и Яцек накинул свой бушлат на ее приталенное пальто с меховым воротником. Повозка со скрипом медленно катила следом за Отто. Несколько раз попадались еврейские полицейские: один ехал на велосипеде, второй просто шел навстречу, покачивал в руке дубинку, обшаривал каждый закоулок востренькими глазками; когда ему попадались дети-старички с протянутой рукой, он рывал на них и замахивался, прогоняя с обочины. Оба полицейских настороженно уставились на телегу, но, увидев коробки со средствами дезинфекции, сразу потеряли интерес.

Наконец Отто дошел до нужного дома и подал знак: снял свою помятую шляпу и отрянул ее, после чего скрылся в тени подъезда. Яцек остановил лошадь, Эва спрыгнула с телеги и вошла следом. Айзенштат пропустил женщину с авоськой, что медленно спускалась по подъездной лестнице, поправляя на себе мужскую рубаху, затем энергично поманил рукой медсестру и молча кивнул на облупившуюся дверь с оторванной ручкой. Над дверью был приколочен старый, потертый футляр с мезузой. В подъезде стоял тяжелый запах баланды и жира. Эва достала из кармана мел и пометила квартиру белым крестом. Отто передал ей сжатую в кулаке, мокрую от пота записку с краткой информацией о живущей здесь семье.

Архитектор спустился по засыпанным стекольной крошкой ступеням в маленькую подвальную каморку. Эва, глядя под ноги, аккуратно шагала следом, стараясь в темноте не задевать битые бутылки. Отто пропустил девушку вперед, оглянулся и, убедившись, что в подъезде никого нет, закрыл дверь каморки. Снял пальто и, почти прижавшись к Эве, накинул его поверх голов, чтобы приглушить звук голосов. Под ногами валялось тряпье, пропахшее мочой и лежалым, невымытым телом: судя по всему, по ночам в подвале кто-то спал.

– Здравствуй, Эва... Как же ты напугала... Почему так долго? Были проблемы?

Девушка часто дышала. Айзенштат слышал удары ее сердца и скрип обуви, когда она переминалась с ноги на ногу.

– Да это ты напугал... Зачем ты так близко подошел? Солдат мог что-нибудь заподозрить...

– Я решил, что за тобой хвост...

Оба замолчали: шаркая ногами, кто-то поднимался по лестнице, спотыкался о битое стекло и гулко кашлял. Когда в подъезде снова стало тихо, Айзенштат возобновил прерванный разговор:

– Ну, все в порядке?

Почувствовал, что девушка кивнула, хотя в темноте не видел: похожее ощущение иногда возникает во время разговора по телефону.

– Не переживай, просто несколько раз останавливали жандармы, проверяли телегу... Меня беспокоит твоя бледность... у тебя был такой ошалевший, болезненный вид у шлагбаума, что...

– А меня беспокоит, как ты поедешь обратно... а если снова обыск?

Эва нахмурилась:

– Оставь... сегодня у каждого человека это свое «если».

Помолчали несколько долгих секунд. Только трескучие капли все бормотали, отстукивали по полу с водянистым дребезгом, вылущивались из взмокшего потолка, сползали с труб и расщелин разводами, как стекающий по бледной шее пот.

– Что там нового на поверхности? – Он прервал влажную трель своим простуженным голосом, который слился с ее бойким эхом; голос как будто стал частью этих подвальных всхлипов, плотью от их плоти.

Архитектор часто говорил о внешнем мире – территории вне гетто – так, словно находился в подземелье. Эва заговорила еще тише:

– В январе Ауэрсвальд ездил на поклон в Берлин. Объявлено окончательное решение вопроса... новая программа... До меня эти слухи дошли в феврале, организация долго их проверяла, и вот только теперь, в марте, все действительно подтвердилось... Похоже, этим летом квартал будет ликвидирован.

Отто потер подбородок, скрипнув щетиной, но промолчал: слушал.

– Из Львовского гетто начали депортировать людей еще зимой, сейчас начали отправку из Люблина... вероятнее всего, следующие на очереди Краков и Варшава.

Айзенштат почувствовал, как мышцы наливаются напряжением, тяжелеют. Собственное тело как-то сразу и вдруг стало увесистым и инородным, точно поклажа. Запашистые тряпки, над которыми приютились Отто с Эвой, обдавали настолько ядреным и стойким парным душком, что раздражающие оттенки чужого пота и мочи воспринимались как часть собственного тела – так же, как и звуки настойчивой грязной капли, которая околуплодными водами медленно стекала и скапливалась в прозрачные катышки. Концентрированная вонь тряпья и запах собственного пота перемешивались с оттенками запахов медсестры – Отто всегда, среди любого смрада остро улавливал эти специфические нотки. Они прижались друг к другу, как единоутробные младенцы; под пальто стало душно и жарко. От девушки пахло хлоркой, а руки

пропитались спиртом, на фоне вонючих закоулков эти запахи воспринимались как аромат здоровья, свободы и жизни.

Глаза привыкли к темноте. Архитектор мог уже различить черты лица девушки: бледная щека, глубокая морщинка-трещинка поперек лба, верхняя губа с мягким пушком и контуры ресниц, похожие на колосья ковыля.

– Куда нас отправят, ты знаешь?

Панна Новак пожала плечами:

– Трудно сказать, они все скрывают... Про Варшаву ничего не ясно: вас здесь слишком много... в карман не положишь, шляпой не накроешь. Из Львова и Люблина отправили в Белжец, Райовец и Парчев, а куда Варшавское, представления не имею, ближайший к нам лагерь – Зольдау и Хелмно... Это далеко, не думаю, что вас могут отправить в Западную Пруссию, тем более что Зольдау совсем крохотный, куда ему вместить всех варшавских...

Айзенштат усмехнулся:

– Я вчера разговаривал с Черняковым, даже глава юденрата не имеет такой подробной информации...

Новак повела плечом:

– Я здесь ни при чем, это все наши активисты... Черняков здесь, как и ты, в консервной банке сидит, навреде шпроты под немецкой крышкой, еще бы он знал что-то... Перед ним Ауэрсвальд не отчитывается. У подполья гораздо больше источников и возможностей, тем более из Люблинского гетто кое-кто спасся и вышел на нас... Яков Граяновский, бежавший в январе из Хелмно, рассказал о газвагенах... забивают полный грузовик, человек по семьдесят... Мать Божья... а потом только трупы выбрасывают, как говяжьих туш из рефрижератора... Пресвятая Дева Мария, когда все это закончится?...

Эва прикусила губу. Немного помолчала.

– Думаешь, в других лагерях будет иначе? Только Гитлер мог придумать такое... Эти не люди хотят объявить Польшу юден-фрай, как несколько месяцев назад Эстонию и Люксембург... Нужно вывозить больше детей, понимаешь? Соппротивление хотело бы спасти из квартала нескольких ценных людей – того же Гольдшмита... а у некоторых членов подполья зреет все более твердое желание дать отпор.

Зрачки Отто расширились, он вцепился взглядом в проступившие сквозь темноту контуры губ Эвы: при любом упоминании о восстании Айзенштат наливался кровью, заострялся, как спица, и чувствовал избыток сил. Он хотел было начать расспросы о формирующихся группах еврейского сопротивления – обо всем, что могла знать Эва, но одернул себя, решил пока не развивать волнующую его тему, чтобы не выдать своего нетерпения.

– Дело не в Гитлере... Газовые камеры придумал американский стоматолог еще в двадцатых годах, евгенику обосновал двоюродный брат Дарвина. – Архитектор прокашлялся, прикрывая рот рукавом. – От своего знакомого, бежавшего из СССР, я слышал, что газвагены использовались НКВД на Бутовском полигоне еще до Гитлера, хотя это слухи, конечно... Да что там, даже умница Юнг – активный сторонник эвтаназии душевнобольных, это же еще спартанская мечта, понимаешь? Научный идеализм – то же самое, что фанатизм религиозный, только с чуть другой рожей... а уж в соединении с идеализмом политическим вся эта научная благонамеренность – всеобщая петля... Тамерлан с Наполеоном, конкистадоры, я не знаю, геноцид индейцев или какая-нибудь Османская империя – такое детство рядом со всеми этими научно-политическими изысканиями, прогулочка просто...

– К чему ты это все? Отто подался чуть вперед:

– Психопат просто превзошел всех своих учителей, не более... Всему виной не этот маньяк, а та первобытная стихия, которая за ним стоит, – ей миллионы лет, а сам фюрер просто одна из глоток этого чудовища... Ты думаешь, что геноцид армян чем-то отличается от всего этого? Турки разве что примитивнее действовали... ума и средств не хватило дойти в

том же деле до совершенства немецкой отточенности... до этой германской изошренности и педантичного блеска...

У девушки затекли ноги, и она пошевелилась, зашуршав одеждой. Архитектор поддержал ее за локоть, произнес срывающимся от простуды голосом:

– Это не немцы сделали, а люди, все мы, цивилизация, наше поганое нутро... Человек – самое паршивое и самое святое существо на свете...

Эва шмыгнула носом:

– Может, ты и прав.

Отто резко кивнул:

– Я даже не знаю, кто больший преступник: немцы или нежелающие принимать перед войной еврейских беженцев Великобритания? США? Бельгия? Австралия? Канада? Оградились квотами или вежливой болтовней... Все эти международные конференции, возвышенный треп и циничное разворачивание пароходов с напуганными детьми у своих границ гораздо страшнее концлагерей и газвагенов...

Девушка кивнула и приподняла полы укрывавшего их пальто: становилось невыносимо душно. Белая кожа Эвы вобрала в себя свет с улицы, что воровато щемился сквозь щели, лицо вспыхнуло, как лампа, обдав Отто румяным здоровьем. Отто знал, что медсестра во многом себе отказывает, отдавая людям большую часть продовольствия и средств, однако молодость брала свое, и, несмотря на скудное, урезанное питание, бойкая жизнь рвалась наружу через молочную нежную кожу и большие грустные глаза.

Эва была дочерью богатого польского крестьянина Томаша Новака, набожного католика и трудолюбивого хозяина, любившего землю с той трепетной нежностью, с какой обычно любят детей и животных. Глядя на этого полного, жизнерадостного человека, можно было представить, что он даже на пашню ступает как-то особенно осторожно, будто придерживает свой вес, опасаясь ранить жирные черные комья с проросшими сквозь них корнями трав. Он поглаживал поле бороной, точно детскую макушку ладонью.

Эва часто вспоминала большое деревянное распятие, висевшее в спальне над комодом, на котором стояла ваза с засохшими полевыми цветами. Мать нарвала их ко дню конфирмации дочери и решила сохранить. Когда девочка проваливалась в накрахмаленную пуховую перину, пропахшую гвоздикой, это распятие из ясеня, похожее на мачту корабля, отчетливо проступало сквозь темноту, внушая покой и чувство защищенности. В глазах Эвы оно словно скрепляло своими перекладинами, связывало, как узлом, весь домашний быт семьи Новак, держало на своих плечах весь их мир.

Утром девочка просыпалась от теплого шаркающего шума – по двору слонялся беспокойный скот, до рассвета выпущенный работниками: лошади грызли стену дома и стучали копытами, а любопытная влажная морда теленка время от времени заглядывала в окно – теленок пытался пожевать комнатные цветы на подоконнике. Непоседливые куры терлись друг о друга крыльями и возбужденно сплетничали.

Отец всегда вставал рано и, чтобы отряхнуться ото сна, выпивал несколько стаканов крепко заваренного чая с яблочной брагой. На кухне пахло картофельными пляцками или свежеслепленными колдунами, мукой и луком. Нагревающаяся чугунка с водой выплевывала в потолок душный белый пар. Мать в белом чепчике готовила завтрак. Широколицая, с добрыми глазами и тяжелым подбородком, но женственными, точно ломкие стебли, а в действительности очень сильными руками, она поливала цветы, гремела связкой ключей от сараев, погребов и амбара, наскоро давая указания своим работникам, а потом уходила в маленький сельский костел, с улыбкой кивая попадавшимися навстречу косарям, которые шли вдоль хворостяных плетней по пыльной дороге, разбитой колесами. «Слава Иисусу!» – «Вовеки!» – разлеталось искрами приветствие. Работники снимали кепки, сверкали здоровыми зубами и косами, закинутыми на плечи.

После утренней службы мама включалась в жизнь усадьбы, следила за детьми – у Эвы было четверо братьев, – помогала рабочим заготавливать корм для скота, носила воду, прибиралась в комнатах, стирала пыль с книжных полок и выметала ее из-под скрипучих кроватей. Эву не нагружали хлопотами по хозяйству, балуя единственную девочку в семье, так что она весело порхала среди корзин с бельем, расталкивала лохматых кур, перепрыгивала через спелые тыквы, гонялась за жирным серым котом и сшибала ведра с водой, а ее заразительный смех неутомимой бусинкой перекачивался из комнаты в комнату. Но минутами Эва глубоко задумывалась, шагая в свои мысли, как в колодец, становилась неподвижной и серьезной, словно маленький сфинкс.

Повзрослев, девочка стала сдержанной и даже немного скованной, перестала разговаривать и смеяться так громко, как раньше, тяготилась веселыми компаниями: ее не заражало это дружеское веселье, мало того, она неизменно чувствовала, что в нем ее дни проходят впустую. Почти сразу после поступления в Варшавский университет Эва примкнула к Польской социалистической партии, просто потому, что партия казалась ей единственной силой, способной сделать что-нибудь существенное для людей, нуждающихся в помощи. В своем окружении она была единственной, кто умудрялся совмещать религиозные и социалистические убеждения, поэтому долгое время прятала от всех нагрудный крестик на старом полинялом шнурке. Еще до начала войны Эва доставала фальшивые документы, которые позволили многим евреям скрыть национальность, а после оккупации попала в варшавское Управление здравоохранения, благодаря чему могла беспрепятственно наведываться в гетто.

Эва откинула белыми пальцами прядь рыжих волос, неприятно защекотавшую веко. Лоб блестел от пота, как гладкий камень, облизанный морской волной. Айзенштат ждал, когда она заговорит о вооруженном подполье, и снова накинул на себя и девушку пальто. Эва считала такую конспирацию чрезмерной: здесь, в завшивевших трущобах гетто, едва ли можно было опасаться немецких ушей, однако Айзенштат настаивал, поскольку боялся осведомителей и понимал, что больше всего рискует именно она.

– Что еще скажешь, Эва? Есть какой-нибудь мармелад? Что-нибудь из «счастливого уголка»?

Девушка сцепила руки и хрустнула костяшками пальцев, нахмурилась, покачала головой:

– На Востоке, кажется, просветы... Немецкая пропаганда не особенно красноречива, а это значит, что им крепко достается... русские смогли отогнать их от Москвы... Но немцев послушать, так у них все – как по рельсам... не знаю... Крым почти взяли, перестали оправдываться в том, что блицкриг затянулся... Японцы вытеснили англичан из Бирмы, Роммель – в Ливии, возвращает потерянное макаронниками...

По напряженному молчанию архитектора Эва угадала ход его мыслей. Она давно знала о его замыслах, но ей не хотелось, чтобы Отто брался за оружие. Будто случайно вспомнив, медсестра сунула руку в карман и передала моментально оживившемуся Айзенштату записку, в которой представители Антифашистского блока назначали ему встречу на завтрашний день. Архитектор зажег спичку, девушка успела рассмотреть Отто, погладила взглядом потеплевшую, подсвеченную огнем кожу, желтую, как шафран. Айзенштат пробежал заблестевшими глазами по короткой строке:

«На улице Новолипки у 40-го дома, в 3 часа».

Сороковой дом – трехэтажное здание на границе гетто, сквозь него проходит тоннель на арийскую сторону, поэтому там несложно пройти, дав взятку солдату. По дошедшей до Айзенштата смутной и не очень надежной информации, Еврейская организация набирала людей и в ближайшее время готовилась к первым операциям на территории Варшавского и Белостокского гетто. Отто еще раз перечитал записку и поднес к ней не успевшую погаснуть спичку – бумага вспыхнула. Когда она догорела, Эва протянула из темноты два куска мыла, несколько склянок и одну ампулу. Отто догадался, что это вакцина от сыпного тифа и пронтозил, кото-

рый используется как антибактериальное средство. Девушка положила все это в ладони Айзенштата, прибавив к передаче таблетки от диареи.

Архитектор держал склянки очень бережно: вакцина была нужна матери, которая сильно ослабела в последнее время, и Отто боялся, как бы слабость не обернулось тифом. Прививка стоила пятьсот – шестьсот злотых. Серная дезинфекция – пустая трата денег, в юденрате ее чаще всего использовали, чтобы вытрясти из населения очередной куш: из карантина люди приносили еще больше вшей, чем было до него. Больницы уже давно прозвали «местом казни»: попадая на больничную пайку, люди просто умирали от голода.

Отто сжал драгоценные лекарства и улыбнулся. Когда их руки соприкоснулись, оба вздрогнули – электрическая щемота, цепкость высокочастотного разряда. Кожу закололо, она словно бы истончилась. Архитектору захотелось поцеловать Эвины пальцы, запястье, обнять девушку, провести рукой по шее, но он не пошевелился.

Теснее прижался к ее плечу. *Война нас благодетельствовала. Забавно. Иначе никогда бы не познакомились.* Глядя в задумчивые глаза панны Новак, Айзенштат чувствовал, что просто обязан быть лучше, чем он есть, и делать больше, чем делает сейчас, просто потому, что есть такие люди, как она; просто потому, что есть в мире такая красота и этот неугасимый свет в глазах. До знакомства с Эвой Отто был твердо убежден, его задача – спасти свою семью, но жизнь медсестры вlepила ему, мужчине, такую оглушительную пощечину, что он устыдился благородной мелочности собственных потуг, эгоистично замкнутых в родственных узах.

Каждый день эта худенькая веснушчатая девушка с родинками на шее и обветренными губами рискует жизнью ради совершенно чужих людей – почему, зачем? Энергия Эвы подхватывала волной и заражала, казалось, она торопилась умереть точно так, как все остальные торопились спасти себя. На самом же деле она любила жизнь: мало кто смотрел на облака, на деревья и птиц так, как она, и Айзенштат прекрасно знал это.

Однажды Отто видел, как солдат из расстрельного отделения после казни неуверенной походкой отошел в сторону и оперся на стену – через несколько секунд его вырвало. Унтерштурмфюрер ударил пристыженного шутце по лицу и что-то прокричал, показывая пальцем в сторону стоявших в стороне еще не расстрелянных евреев, те прижались к стене, вбитые в нее, насаженные, как на пики, убитые заочно, еще до выстрела. Солдат отер рвоту рукавом и залез в кузов грузовика, не глядя на своих. Бледное лицо, растерянный ужас немца наводили на мысль: он только что проглотил казненную семью, прожевал собственными зубами и вот желудок подвел и исторг свое содержимое. Солдат несколько раз оглянулся на расстрелянных. Девушка с раскинутыми по камням черными волосами и широко раскрытыми глазами, блестящими, как стеклянная крышка над пустотой. Убитая неловко лежала на асфальте, худые руки заломлены, скомканы валежником, а нога отведена в сторону, словно девушка замерла в каком-то танце и собиралась встать, чтобы продолжить его, тонкая и такая сложная в каждой черточке-частичке своего тела, совершенная и прекрасная, смятая ландышем – мертвая горсть. Рядом, опершись на стену, сидела ее застреленная мать, руки были сложены на животе точно так, как она их держала во время расстрела, голова завалилась набок в сторону дочери – казалось, мать присела передохнуть после тяжелой работы и наклонилась к дочке, желая шепнуть что-то важное; юбка женщины задралась, оголив белую ногу с черными волосками и паутиной выступивших вен. Тут же лежали двое детей: мальчику-подростку расколело череп, оторвав верхнюю его часть вместе с левым глазом и ухом, а девочке лет семи с кудрявыми волосами и восковым лицом перебило горло, кровь залила всю мостовую. Дети походили на раздавленных молотом цыплят; вскрытые и распятые, они лежали неподвижно, как снег. Отец семейства упал лицом вниз, будто его сбросили с высоты. Рядом с телами валялась окровавленная кукла с длинными ресницами, в голубом платице с кружевами; удивленным личиком, малиновыми губами и ямочками на щеках она походила на свою застреленную владелицу и даже лежала в похожем положении: сложенные вместе ноги в круглых башмачках и прижатые к

телу маленькие руки. Почему-то кукла в луже крови больше всего и запомнилась Отто: к телам убитых людей архитектор уже привык, а вот окровавленная игрушка до сих пор заставляла его содрогаться.

Айзенштат осознал в ту минуту: убийство противостоит природе. Если после расстрела даже солдатское брюхо выворачивается наружу, значит действительно нарушен какой-то внутренний закон и сама природа противится этому преступлению. Именно эту из века в век попираемую политическими чудовищами всего мира *исконность* и воплощает Эва – самой собой и всей своей жизнью.

Иногда архитектор совершенно выбивался из сил, уставал от голода, вони, вшей и мертвых тел, похожих на вязанки с дровами, от налетов солдат из дивизии *Totenkopf*, и тогда он расклеивался и подумывал о побеге, но семья связывала руки – после смерти отца их оставалось четверо. Айзенштат запросто мог вытащить из гетто и десятерых: до указа от ноября 1941 года, грозившего расстрелом за выход из гетто без пропуска, свобода оценивалась в сто злотых за место в немецкой машине, чтобы выехать на арийскую сторону и не вернуться. Еще проще было заплатить десять-пятнадцать злотых часовому и просто выйти из-за стены. Само собой, после ноябрьского указа покинуть гетто стало сложнее, однако по-прежнему реально. Главная проблема заключалась в том, как выжить на арийской стороне после побега, где достать фальшивые документы и убежище. Для этого одних взяток было недостаточно, требовалась серьезнейшая подготовка и целенаправленная помощь извне, о которой Отто не мог просить организацию и Эву: предлагать в качестве кандидатов на спасение членов своей неплохо обеспеченной семьи вместо нескольких детей, умирающих с голоду, казалось ему невыносимым.

В воображении промелькнуло, как тайно провозимый Эвой ребенок пересилил действие снотворного и заплакал, эсэсовцы услышали крик и уже через пару часов начались пытки этой красивой женщины – такой нежной и хрупкой, похожей на мотылька. Архитектор неоднократно замечал: сознание тяготеет к самоистязанию, оно склонно насаждать навязчивые, пугающие образы, будто сама природа призывает человека к страданию, толкает к нему какими-то скрытыми под телесной оболочкой узлами и переплетениями, притаившимися в самой сокровенной глубине нервными окончаниями-клубнями, она влечет человека, потому что по какой-то одной ей известной причине находит в страдании истину и благо; будто жестокая, но заботливая природа знает – там, в конце всех этих мучений, стоит Господь Бог, уготовивший дать свои ответы, открыть свои двери. По этой же самой причине Айзенштат испытывал нехарактерную для убежденного иудея, хотя и сдержанную, симпатию к верованиям Эвы, которая так явно не бежит от страдания ради себя, а буквально ищет его ради других, это перевешивало в его глазах все Крестовые походы и инквизиции, все еврейские погромы черносотенных фанатиков – все то зло, какое причиняли христиане его соплеменникам на протяжении истории.

Otto отогнал неприятные мысли, взял руку девушки и поцеловал. Эва чувствовала в прикосновении губ и пальцев сильнейший накал, какой-то скрытый в телесной мякоти шорох, подкожный зуд, откликавшийся в ней с той же силой. Плечи девушки сжались, пальцы дрогнули – позвали к себе. Она смутилась, поправила юбку, хотя в темноте ее совсем не было видно.

– Ты святая, знаешь это? Ты святая, Эва. – Теплый шепот рядом с ухом.

– Не говори глупостей, Отто... Я просто женщина, у какой женщины не разорвется сердце при виде умирающих детей?

В ее интонации он различил улыбку.

– А все-таки ты святая, знай это...

Отто провел ладонью по Эвиной щеке. Хотелось многое сказать, прокричать, шепнуть, но язык путался. Решил молчать, иначе непременно собьется и наговорит лишнего, обесценив то незримое, волнующее, что так долго копилось и росло между ними. *Слова, слова, на них с трудом налипают только поверхностные смыслы... цеплять крючками слогов икуру жизни... эти рациональные коды-зазубрины... все гораздо сложнее – отношения, сами люди много-*

этажны, как города, – в каждом доме глубокий и темный подвал, зеркальные комнаты и высокие балконы... чувства – не шкура, не код, они вне буквенных символов, алфавитных переплетений, завязи ударений и запятых, все эти лингвистические сцепки и якоря... слово, иероглиф – нет... кандалы, это кандалы, грязные оконные решетки... вот разве что рисунок или ноты, бытьможет, бытьможет... незнаю... что не скажешь, все так глупо, так сложно, Яхве. Почему я не могу просто молчать рядом с ней? Всю жизнь. И смотреть на это веснушчатое лицо... Несколько неосторожных слов, ошибочных, эмоциональных, и она исчезнет, подумает, что я – это не я, что она впопыхах обозналась... и то, что чувствуем мы оба, на самом деле не то... Эва замерла – ждала продолжения увиденного, ухваченного в его глазах, но Отто все молчал, его карие глаза закрылись, будто архитектор в последнюю минуту решил спрятать слишком очевидное – то, что горело в них.

Духота стала невыносимой. Айзенштат скинул пальто и встал – ноги затекли. Они выглянули из-под пальто, как через вспоротое брюхо – из глубины. После спертости их маленького укрытия вонючий воздух гетто показался свежее и чище. Архитектор покосился на ржавые трубы – с них все рвались эти бурые осточертевшие капли, стекали на облезлую штукатурку стен, пропахших плесенью. От звука этих постукиваний-всхлипов казалось, будто гетто дышит и плачет, существует не как район, а теплится, как огромная, усталая ладонь, изнуренная под пытками плоть, а вся эта влага – роса смерти, холодные капли-выжимки – остатки жизни, какая-то клейкая слюна, стекающая из губ покойника.

Отто молча вышел на улицу. Эва с тоской проводила глазами высокую спину, вышла следом. Запрыгнула на телегу – рессорный скрип, как торопливый росчерк пера, Яцек причмокнул и тронул лошадь, девушка не оглядывалась – *теперь дезинфекция, предстоит много работы. Только к вечеру на обратном пути вернусь к этой хиленькой дверисбелым крестом посередине... Так ничего и не сказал. Так ничего и не сказал.*

Если Айзенштат выступал в роли Вергилия, дело двигалось споро: медсестра приходила к подготовленным родителям долгожданной гостьей, принимала в руки тщательно замотанного в одеяло малютку, кормила его молоком со снотворным, прятала в сумку и спешила прочь. Без архитектора приходилось врываться в мир гетто непрошеной гостьей, каким-то подозрительным недоразумением, аномалией или даже стервятником, снова убеждать, снова оглядываться по сторонам, торопиться, врать, стыдиться, выслушивать упреки и давать фальшивые обещания – так, словно эти дети были ее пищей. Эва невольно ощущала себя чудовищем.

Даже в многодетных семьях матери с трудом отдавали своих отпрысков: у каждого еврея теплилась надежда на скорое окончание войны. После января 1942-го, после первых слухов о массовом уничтожении евреев Верхней Силезии в газовых камерах Аушвица II/Биркенау убеждать стало легче, хотя все понимали: это лишь очередная паническая сплетня. Вот и получалось, одни протягивали девушке своих крох и благодарно целовали руки в бесчисленных веснушках, другие в последнюю минуту выхватывали малыша и резким тоном требовали уйти, угрожая еврейской полицией.

Девушка даже не простилась с Отто, силой себя заставила не смотреть в его сторону. По ее лицу он понял: сердится. Бросил последний взгляд на хрупкую спину медсестры, мысленно поцеловал эту белую шею с почти незримым, прозрачным пушком и свернул в переулок. Неловкость: видел – ждала признания, порывистых объятий и поцелуев, но Отто запретил себе быть счастливым, бессознательно чувствовал: *сейчас нельзя иначе*. Эва, должно быть, приняла это за робость.

Он поежился от стыда и сожаления: колобродит, бередит колючий и терпкий стыд, смятение. Так и не разобравшись с колтуном своих чувств, отправился домой, чтобы отогреться и выпить кофе, который иногда приносил из ресторана Марек.

На подходе к площади Мурановского сидели несколько «торговцев»: один продавал пачку печенья, другой – горсть луковиц и кусок эрзац-хлеба, третий – сахарин и какие-то лохмотья. Рынок находился совсем рядом, на улице Геся, огромный, как Атлантида, побольше даже, чем знаменитый в мирное время рынок на улице Карцелак. Тысячи продавцов и колонны покупателей теснили улицы и устало теребили друг друга: вяло толкались, собирали слухи, торговались, клянчили, воровали, дрались – обездушенное, телесное пространство, скомканые фигуры выживающих людей, хватка острых пальцев, хмурые взгляды, раздражение, запах пота и тления. Тяжелый, почти слоистый воздух и смрад немывтого человеческого тела – изношенного, впалого, прогорклого. Шум скребущих кожу ногтей, кашель и сморкающиеся всхлипы. Брызги пахучей слюны и горячий душок враждебного дыхания. В толпу вклинивались синие фуражки: еврейская полиция прислушивалась, приноживалась, не обращая внимания на презрительные взгляды стариков и женщин, все вышагивала, держала нос по ветру, виляла и шикала, хватая время от времени себе подобных, – жрала собственных соплеменников, как мифический змей уроборос свой хвост.

Поначалу для Отто стало неожиданностью, что среди евреев нашлось столько охотников служить нацистам, но впоследствии он привык, как и ко всему остальному: старательные юноши, утянутые кожаными ремнями, размахивали дубинками с таким усердием, будто пытались доказать, что способны превзойти в жестокости самих немцев. Официальное начальство этого выдрессированного сброда – полковник Шеринский и его заместитель коротышка Лейкин, закомплексованный обрезающий Наполеончика, – играло чисто формальную роль. По факту еврейская полиция подчинялась гестаповцам, которых на все гетто насчитывалось не больше десятка.

Исходившая от оккупантов незримая хмарь поражала своей цепкостью: черной тучей хомутала людские головы, эпидемией пеленала все живое, срывала с цивилизации ее покровы, зевала во всю пасть, обнажая первобытные, исконно-зверинные клыки, прописанные в каждом члене потеющего, алчущего тела коды, языческие алгоритмы. Айзенштату вспомнился друг Самуил, бывший однокурник из Архитектурной академии, душа компании и добрый малый, улыбчивый симпатяга, до слез восхищавшийся Пуччини и Верди. В студенческие годы мечтал построить в Варшаве театр, равный Венской государственной опере, гулял за ручку с хохотуньей Марысей, любил фиалки и кожаные переплеты добрых книг. После оккупации почти сразу вступил в еврейскую полицию; как-то на глазах у Айзенштата избил старика, разгоняя людей, столпившихся у витрины магазина, просто потому, что рядом стояли немцы, просто потому, что ему хотелось себя проявить. Когда запыхавшийся Самуил, вертлявый и сухопарый, как саранча, с костлявыми лопатками и оттопыренными ушками-усиками, поймал ошарашенный взгляд Отто, то с непривычки немного смутился и повернулся к нему спиной. Избиение просто так, убийство из карьерных амбиций, изощренная пытка-бравада как щегольство – писк утонченной моды, новый шик, пурпурная красота жестокости; респектабельность любой формы насилия и презираемая за бессилие доброта – блуждающее в потемках человечество, потерявшее опору.

Больнее всего Отто было сознавать, что в нем самом таилась эта угодливая гадина – какая-то инертная струнка-резонер, готовая к отклику на любое колебание окружающего безумия. Айзенштат называл ее «внутренней сукой». К чему перебирать вчерашних соседей и однокашников, ежели он сам не единожды оказывался в ситуации, когда колени дрожали, «внутренняя сука», неспособная на отпор, безвольная тварь, рвалась наружу, а все святое-детское-материнское-Божье обваливалось и рассыпалось, как скомканная ромашка, брошенная в паровозную топку солома?

Вспоминая эти мгновения-провалы, архитектор невольно прикрывал лицо руками: чувство стыда за эти минуты слабости каждый раз по-новому обжигало, драло нутро с прежней силой. «Внутренняя сука» роднит его со всеми теми отбросами, которые лебезят перед новой

властью, не брезгуя никакими способами заслужить ее благосклонность. Отто не сомневался: окажись он в руках гестапо, уже через несколько минут пыток «сука» сдаст членов Польской организации и Эву, а сам Отто подпишет смертный приговор, толкнет в бездну себя и их, утащит за собой тех, кого любит, ради улаживания тех, кого ненавидит.

Осознав собственную слабость, Отто сделал безмолвный вывод-решение. Ампула с цианистым калием всегда с собой, вшита в лацкан пальто, как последний патрон, зажатый в теплых, уставших пальцах. Ждет своего часа.

На площади царила какая-то вялая, умирающая суета, похожая на предсмертную агонию: люди с котелками о чем-то перепуганно шептались, одни поддерживали, давали тепло и надежду, ободряли, а другие тянули друг из друга жизнь. Смеялись лишь дети, игравшие на углу площади. Развернули грязную мокрую тряпку, что-то чертили на ней пальцами, как на свитке пергамента, затем скомкали и стали бросать друг другу. Когда тряпка надоела, смеющиеся дети принялись играть с лежащим на тротуаре трупом. Обступили обнаженного костлявого подростка с удивленно вытянутым лицом, щекотали его безжизненное тело, наблюдая за реакцией, но равнодушный к миру человек не шевелился. Неподалеку спорили о Каббале два хасида, пейсы взволнованно тряслись, а запотевшие очки поблескивали на куцем солнце.

Вид мертвых тел не нагонял на Отто тоски: застывшие лица и окостеневшие конечности давно уже воспринимались прочно утвердившимся ландшафтом новой реальности, специфическим налетом войны, ее осадком. Айзенштат смотрел на смерть остывшими, отстраненными глазами и не ощущал ее присутствия, наверное, потому, что она слишком долго и навязчиво держалась рядом. Каких-нибудь два года назад Отто потрясала жестокостью немецкая пощечина первому встречному старику, теперь он сохранял хладнокровие, даже когда становился случайным свидетелем массового расстрела. Архитектор понимал: он перестал быть нормальным человеком с чистым, неискаженным восприятием окружающей реальности, но теперь для него было очевидно, что задубелость сердца есть защитная реакция его духовного «я» – не «суки», а иного, – и, сохрани Айзенштат по сей день свою прежнюю восприимчивость, бескожность, он был бы обречен и раздавлен: демонические, безумные личины каждого нового часа в гетто безжалостно насиловали бы его сознание, доведя в конечном счете до сумасшествия или суицида.

Трупы ушедших обретали бестелесность призраков, истлевшие мышцы, истаявшие конечности лежали на камнях сточенными в ноль людскими конструкциями, словно вывернутыми наизнанку, опавшими листьями, какой-то исторической накипью; больше всего мертвых попадалось вдоль стены на улицах Сенной и Слиска да рядом с угловым домом на Францисканской, 21, где было удобнее всего перелезть на арийскую сторону. По ночам контрабандисты ставили здесь лестницу и передавали необходимые товары, вещи, стопки подпольной польской газеты «Баррикада свободы». Иногда «переправа» проходила гладко, иногда в тот самый момент, когда смельчаки карабкались по кирпичам, автоматные очереди решетили, шпиговали спины, винтовки помечали лбы и затылки круглыми дырами, подцепляли душу острым кончиком пули, заставляя врасплох. Стоило голове приподняться над уровнем стены, она сразу становилась отличной мишенью, звучал одиночный выстрел, и череп плевался костяными ошметками, а по кирпичам стекала темно-алая кровь. Сиплый пороховой дымок окутывал улицу, смешивался с пахучим воздухом гетто.

Вообще точек для контрабанды хватало: Светоерская улица, Рымарска, Козла – на каждой из них имелись «пограничные» дома или удобные крыши; с Дворца мелодии можно без особых усилий допрыгнуть до крыши соседнего дома на арийской стороне, но безопаснее всего было действовать напрямую – не напролом, а, что называется, с практическим расчетом: провозить продукты через часовых, заплатив по сто-двести злотых за фургон. Смельчаки, что занимались товарами выживания – ходили за хлебом и крупой, – предпочитали опасные

лазейки. Предметы роскоши ввозили оптовики – тузы вроде Келлера и Гона, которые подкупали охрану и пригоняли в гетто целые обозы с табаком и деликатесами из Греции, французской косметикой, драгоценностями и коллекционными винами.

Еще одним излюбленным местом для тех отчаянных, кто ходил по ту сторону жизни, чтобы добыть себе хлебную пыльцу, было кладбище: немцы брезговали здесь появляться, чем с успехом пользовались жители квартала. Могильные плиты и памятники старой части кладбища смотрели сквозь туман своими слепыми лбами, прислушивались к нарушаемой тишине и стучали мрак, прикрывая голодных ходоков призрачной пеленой. Среди надгробных памятников блуждали сонмы расплывчатых теней – не то души умерших, не то тела живых; впрочем, быть может, там были те и другие, просто каждый из них искал что-то свое, утраченное. Даже в своем притаившемся спокойствии кладбище копошилось и дышало, пульсировало и трудилось, с него поднималась густая, как пот уставших работников, испарина. По нему спешили контрабандисты, рыскали псы, выкапывая из общих могил питательную мертвечину, а души умерших встречались со своими предками, сюда же свозили тела ушедших в небытие, которых с каждым днем становилось все больше, так что рыночная суতোлка на многолюдной улице Геся давно уступила первенство этой туманной обители, словно признав, что не торговля, не храм, а смерть стала новой царицей нового мира.

Почувствовав запах свежерытой могилы, Харон открывает двери, из открытых проемов всегда веет ветер; люди не любят приходить на кладбища, они интуитивно ощущают этот ветер, воспринимают его коркой сознания, кончиками пальцев, воспаленным нервом. Каждый из них понимает: ветер не может веять из пустоты, ветер веет только с просторов, а ничто не пугает живого человека так, как загробный простор: если есть ветер, значит есть бессмертие. Над еврейским кладбищем Варшавы 1942 года без конца гудел ветер, очень сильный ветер. Он не разгонял надмогильный туман, не касался его, щадил, этот несуществующий в физическом мире ветер веял не вовне, этот ветер веял – в.

Отто пересек рынок, свернул на очередную улицу, он спешил к дому. Встречные люди сильно походили на покойников: между живыми и мертвыми пролегала тонкая, еле уловимая грань, просто первые еще дышали, а вторые – уже нет, так что во многом живые и мертвые были неотличимы. Мертвецы же разделялись более отчетливо: лежащие на обочине сильно отличались от трупов, валявшихся где попало: первые были аккуратно, заботливо обернуты бумагой, члены их семей просто не могли заплатить пошлину и оставляли своих близких напротив дома, откуда их в конце концов забирали чернорабочие из юденрата. Оберточная бумага подрагивала от прикосновений ветра, приоткрывая обескровленные тела: ломкие конечности, похожие на выброшенные стулья, и уставившиеся в небытие остекленевшие глаза еще могли вызывать некоторое почтение, в них ощущалась своеобразная солидность. Вторые же, те, что попадались под ноги, напоминали отработанное сырье, накопившуюся в уличных щелях изморозь. Через этих последних перешагивали с раздражением, потому что лишнее движение требовало немало калорий.

Каждое утро немощная лошаденка с телегой, накрытой брезентом, придавленным камнями, чтобы его не срывало ветром, колесила по кварталу. Несколько хмурых работяг собирали мертвых и складывали друг на друга, а когда телега наполнялась, везли их к кладбищу, где хоронили в общих могилах: первое время умерших разделяли досками, а потом просто вываливали скопом. Из-за подземных вод на кладбище не было возможности рыть слишком глубокие могилы, земли не хватало, так что тела едва присыпали. Пинкерт, которого прозвали Королем Мертвых, неплохо наживался на новых, продиктованных временем обстоятельствах – в одном из своих многочисленных бюро он организовывал похороны люкс за двенадцать злотых с носильщиками в униформе и очень гордился своим процветающим бизнесом.

Навстречу Отто плелся лохматый Рубинштейн, похожий на юродивого – местный сумасшедший, который вечно размахивал руками и орал во все горло:

– Сало дешевет! Сало дешевет! Юденрат сообщает, что во вшах тоже есть мясо! Прощай, еврей, в живых останется только Адам Черняков, я и Абрам Ганцвайх! Прощай, бедняк, Купчикер из юденрата ест твой сахар! Чап-чап-цукер, чап-чап-цукер! Вэй из мир, чтоб я так жил... Чинуше Цукеру нужно кормить свои кондитерские, а нам сахар вреден – испортим зубы, не сможем жевать сало и кошерных вшей!

Увидев Отто, Рубинштейн сразу признал в нем интеллигента и подбежал с протянутой рукой:

– Пан, дай грошик... дай грошик, а то закричу! Айзенштат знал, что этот шантаж был единственным способом заработка Рубинштейна – если ему отказывали в мелочи, он начинал кричать: «Долой фюрера! Смерть Гитлеру!», – и уже через пару минут на кошунственные слова сбегались солдаты, которые устраивали кровавую баню всей улице.

Отто протянул ему пару монет и двинулся дальше.

На контрасте с полупризрачными контурами ошалевших от голода, просвечивающих людей с костяными лицами, на контрасте с потерявшими всякое человеческое подобие уличными обмылками, исторгнутыми на обочину, словно выброшенные на берег раковины, здесь же рядом, в гетто, такие же точно евреи, отупевшие от слишком обильного, грузного пищеварения, взмыленные от веселья хапуги устраивали лихие кутежи, спуская подчас за ночь по двадцать тысяч злотых. Целые баржи с мукой и хлебом сгорали в ладонях, растворялись в веселящих брызгах и хмельных пузырьках, поблескивали на декольте дорогих любовниц, таяли в воздухе шлейфом изысканных духов и сизым дымом кубинских сигар.

Так называемое «высшее общество» составляли по большей части преуспевающие коммерсанты, некоторые из высших чиновников юденрата, агенты гестапо, владельцы и совладельцы «шопов», имеющие право нанимать еврейских рабочих и выполнять на своих предприятиях военные заказы. Помпезный «Лурс», шумные «Мелоди-палас» и «Мерил-кафе» с их конкурсами красоты или «Казанова», где работал брат Отто Марек, – все эти кабаки пестрели вычурными люстрами, мрамором и серебром. Музыканты тянули жилы своих скрипок, пытались подсластить гастрономические изыски загулявших господ-людоедов, питавшихся не поднесенными официантом блюдами, нет, а теми, кто стоял у окон ресторанов и смотрел внутрь доньшками воспаленных глаз, теми скелетами, что шатались и падали в подворотнях, теми, кого с чувством гадливости отгоняли сытый швейцар и прикормленная богачами полиция. По заказу SS

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.